



Василий Аксенов, Виктор Ерофеев и Владимир Высоцкий. 1979 год.
Фото Виктора ТРОСТНИКОВА.

О русском «западничестве» и патриотизме рассуждают писатели Василий Аксенов и Виктор Ерофеев в беседе с корреспондентом «МН» Еленой Веселой.

«БАР» — ЭТО ПРОСТО «ДОСКА»

Виктор Ерофеев: Вот уже 10 лет ты живешь в США. Что это такое — быть «западником» на Западе?

Василий Аксенов: Когда живешь в России, для тебя Запад — нечто загадочное и возвышенное. Любое западное проявление, даже имя. Есть такой английский глагол — «to lionize» — «делать льва», героизировать, поднимать...

В. Е.: Это все было в первых твоих повестях — твои герои, например, всегда знали, галстуки какой фирмы носят. В этом была своя магия. А все эти имена? Ив Сен-Лоран, например...

В. А.: Я их называл иронически чаще всего.

В. Е.: Но в этой иронии было и наслаждение произношением. Это целая выстроенная семиотика, настоящая система звуков... А как тогда звучало слово «бар»? Фраза «Пойдем в бар!» — это первые шаги постсталинского западничества.

В. А.: Теперь-то я знаю, что «бар» — это просто «доска». Посидеть у бара — значит к доске присесть.

Вообще я понял, что русское «западничество» часто не имеет отношения к Западу как таковому. Вспоминаю Сашу Галича. Он считался одним из образцовых «западников»: всегда элегантный, знающий несколько языков, с манерами аристократа. И когда ему пришлось уехать, все говорили: «Ну, Саша-то легко войдет в их образ жизни!» Но этого не произошло. Он чувствовал себя все время одиноким, чужим, всегда цеплялся за Россию и был дико подвержен ностальгии.

Как ни странно, я это ощущаю и на себе — мое «западничество» или даже американофильство не всегда имело точное отношение к Западу или Америке, а скорее к каким-то русским фантазиям, к способу нравственного сопротивления, утверждения своего внутреннего мира, к самозащите, вызову...

В. Е.: К индивидуализму как идее, а не к тому ее воплощению, которое видишь в Америке. Американскому индивидуализму вовсе не хочется подражать: он просто вульгарен.

Мы долго думали, что Запад — это Россия плюс воля. Но оказалось, что Запад совсем иная субстанция, а что касается воли, то этого там тоже нет. Есть свобода, то есть упорядоченная воля.

Мне кажется, что и у тебя, и у меня (а для многих мы олицетворяем «западничество» в совершенно агентурном смысле) произошло переосмысление этого понятия. Ты сформулировал достаточно точно, что существует «западничество», необходимое русской культуре, чтобы не опуститься в азиатчину — не в Азию с ее культурой, а именно в азиатчину, то есть в бесформенность.

В. А.: Я бы сказал, что за годы эмиграции я стал большим патриотом — не в смысле «заединщиков», а патриотом русской цивилизации, патриотом России как части мира, и не худшей его части. России открытой, России, которая делится с миром своим культурным опытом. Конечно, нам еще рано кичиться чем бы то ни было. Я мечтал бы увидеть

русскую интеллигенцию среди мировой, ни в коем случае не в качестве бедных родственников, а просто активную группу людей, вошедших в мировую интеллектуальную жизнь.

В. Е.: Не претендующую на главенство, но и не комплексующую. Пока, я считаю, у нас есть несколько причин для комплексов — наше университетское образование, например, отнюдь не европейское. И опыт свободного странствования по миру тоже пока отсутствует. Но если мы сможем это преодолеть, то вполне найдем свое место в системе мировой цивилизации. Русская живопись, музыка, архитектура, не претендуя на глобальное значение, безусловно, могут стать фактами мировой культуры. Каждый раз, когда я встречаю интеллигентного американца, он, желая меня поразить, говорит: «Я в колледже прочитал Достоевского и Толстого, и это меня перевернуло». Это та самая прививка, которую может дать Россия. Точно так в русские мозги вошел Джойс, а раньше — Хемингуэй, Фолкнер. Культурный обмен на таком уровне кажется мне вполне достойным.

В. А.: Для моего патриотизма есть еще одна очень важная причина — это ощущение языковой ловушки, в которой я оказался. Я все больше вхожу в английский, волей-неволей. Но я понимаю, что никогда не узнаю его так, как русский. И никогда не смогу в литературном плане думать и писать по-английски. И в то же время не могу погрузиться в стихию русского романа — чужой язык мешает.

В. Е.: У меня опыт всех этих лет был иным — я жил здесь. Довольно долгое время эта страна выкручивала руки (не только мне) и вообще была большой вонючей помойкой, которую было интересно изучать и описывать, но от запаха которой было трудно укрыться даже дома, потому что и туда проникало радио и телевидение. Временами жить просто было невозможно. И это состояние совершенно не способствовало возрождению патриотизма. При этом у меня не было чувства обиды — я понимал, что ненависть к себе я заслужил. Мы же, затеяв «Метрополь», хотели задеть, обидеть.

В. А.: Ты можешь представить себе, что живешь на Западе?

В. Е.: Нет. Мне кажется, я понял драму эмиграции для русского писателя, сам не эмигрировав. Я пережил ее внутренне. Эмигрировать — это все равно что посередине жизни превратиться из мужчины в женщину. Это не только другая форма одежды, но другая форма существования. Сознательный выбор эмиграции — очень серьезный выбор для русского писателя, гораздо более серьезный, чем для поляка или чеха, которые по своей закваске все-таки западноевропейские люди. Наверное, я тоже патриот, хотя и меньший, чем ты. Для меня Россия — это Золотой век, Пушкин; это Серебряный век — Сологуб, Блок, Мандельштам; замечательная литература 20-х годов; чудесное поколе-

ние, к которому принадлежишь и ты, — дети хрущевской оттепели. Для меня это эпоха московского андеграунда 70-х — начала 80-х годов. Пройдет время, и это тоже будет Серебряный век. Но и тут я, естественно, разрываюсь: с одной стороны, я принимаю идею патриотизма по отношению к русской культуре, с другой — меня безумно раздражает все то, до чего мы докатились.

В. А.: Думаю, это не только кризис коммунизма. Мне кажется, это произошло от склонности к проклятому эгалитаризму. Это стремление задавить всякого, кто выше тебя или кто просто отличается от тебя — в материальном, культурном отношении, по манере одеваться, разговаривать, пить, танцевать, выпивать, не выпивать... Это стремление к усредненности, которое всегда спонтанно жило в нашем народе и которое было провокационно возбуждено 70 лет назад, привело к уничтожению всего элитарного слоя.

Но у меня, как ни странно, какие-то надежды сохранились. Я второй раз приезжаю после длительного отсутствия, и, несмотря на то, что мне говорят, что здесь становится все хуже и хуже, мне кажется, что в народе спонтанно возникает протест против середняковщины. И это гораздо важнее, чем наличие какой-то культурной группы, которая отвергает эту усредненность, но находится в изоляции.

В. Е.: Все-таки в нашей беседе именно ты выступаешь с позиции большей надежды. Вот она — ностальгия в действии...

В. А.: Может быть. Но мы, зарубежные русские, вообще к вашим разговорам относимся критически. Когда идет сплошная «чернуха» или, наоборот, колоссальный захвал Америки...

В. Е.: Ну, политическая жизнь тут сегодня хуже всякой «чернухи», подлости хватает. Из прекрасного далека лучше слышны цыгане. Вообще, я смотрю, у тебя появилась американская наивность... Впрочем, я тоже против захвала Америки, но сейчас это здесь самая немодная тема. Попробуй сам сказать несколько неугодных аудитории фактов об Америке — тебя не поймут и по-своему будут правы.

В. А.: Это, видимо, тоже русская черта. Все 70 лет были полная застегнутость, величественная поза, и ордена, и регалии, «лучше меня нет!», «любой советский человек даст фору зарубежному чинуше», «у советских собственная гордость!» А сейчас? Рвут на себе одежды: «Посмотрите, вот тут еще болячка! Вот здесь все к черту растерто! А здесь гноится! Омерзительнее меня нет в мире! И не угорваривайте меня, я хуже всех!» Эта истерия тоже странна... Может, все-таки попытаться прийти к берегам здравого смысла?

В. Е.: Как идея это красиво. Но скорее всего это пока что еще одна русская фантазия...